

## МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ СОЗНАНИЯ

*В.П. Зинченко*

### МЫСЛЬ, СЛОВО, ОБРАЗ, ДЕЙСТВИЕ, АФФЕКТ: ОБЩЕЕ НАЧАЛО И ПУТИ РАЗВИТИЯ

(от первичной интегральности к богатству душевной жизни)

Как бы далеко не идти в глубь истории человечества, мы нигде не найдем человека без труда, сознания и языка. Это же верно для индивидуального развития человека. Автор статьи предлагает альтернативный взгляд на роль слова в детском развитии. Слово, рассматриваемое как внешняя форма, включает в свой состав в качестве своих внутренних форм действие и образ, и наоборот. Слово сопутствует человеку с момента рождения и до того, как проявиться во всей полноте своих внешних форм, оно проникает во внутренние формы движений, действий, образов, аффектов ребенка. Принятие ребенком слова происходит на уровне чувственного проникновения, а не понимания, в начале этого лежит интеллигибельная интуиция: ребенок понимает мир в смысле умения быть в нем. Младенец ждет слова так же, как ждет и ищет телесного контакта с матерью, он впитывает человеческое слово, и оно становится «семенным логосом», который практически сразу начинает прорастать. «Семенной логос» делает свою работу, итогом которой становится язык как культурное растение, вырастающее в плодотворной почве образов и действий, щедро орошаемой эмоциями. В возрасте около двух лет ребенок преодолевает трудности воплощения души в звуке, и слово, наконец, находит свою внешнюю форму. Этот процесс качественно отличается от окультуривания «натуральных», «низших» (в терминологии Л.С. Выготского) психологических функций. Автор убежден, что сфера культуры преобладает над природой ребенка, и высказывает сомнение, что у ребенка вообще имеются натуральные, низшие или примитивные психические функции. Слово изначально становится не только важнейшим жизненным фактом, но и актом духовным и культурным. Развитие ребенка начинается с образования духовного, символического слоя сознания, с «вершинной психологии», с конгениальности младенца высшим проявлениям человеческого духа. Человек с момента рождения входит в мир человеческой культуры. И с этого момента начинается не просто приобщение к культуре, а начинается его духовное и культурное развитие.

**Ключевые слова:** сознание, деятельность, культура, развитие, мысль, слово, образ, действие, аффект, внешняя и внутренняя форма, семенной логос, доопытное начало культурного развития, интеллигибельная интуиция, первичная интегральность, дифференциация душевной жизни.

Интуиция – раньше, принципиальнее и первоосновнее, чем буква.

*А.А. Ухтомский*

Вначале было слово! В деянии – начало бытия! От памяти материи к памяти духа! От действия к мысли! От слова к мысли! От мысли к слову! От

ассоциации ощущений к образу! От гештальта к ощущениям! От переживания к смыслу! От смысла к действию! Перечень подобных утверждений можно

продолжить. Хотелось бы думать, что они возникают от избытка душевной жизни. Для стимульно-реактивных и условно-рефлекторных описаний поведения такие утверждения не имеют смысла. Собранные вместе они становятся вопросами *ab ovo*, на которые дают разные ответы философы, психологи и, соответственно, студенты и преподаватели (и учебники). Возникает и общий вопрос. Относятся ли эти утверждения к развитию и функционированию психики, или они отражают индивидуальные установки и предпочтения их авторов? Поскольку, как нас учили философы, историческое и логическое не совпадают, (как не совпадает историческое *со знающимся с будущим в быту* поэтическим), то, во-первых, противоречивость приведенных утверждений (вопросов) не должна удивлять, во-вторых, имеют право на осуществление попытки снять или, по крайней мере, смягчить противоречивость и (извините за выражение) парадигмальность этих утверждений. Более тридцати лет тому назад я сделал такую попытку относительно феноменов установки и деятельности (Зинченко, 1978). Здесь я попытаюсь мысль и слово уравнивать в правах гражданства с образом и действием. Оппозиция между восприятием, образом и действием была снята ранее и показана общность пути их развития (Запорожец и др., 1967; Зинченко, 1958; 1961; Леонтьев, 1959).

### 1. Некоторые реминисценции

Эпиграфом к статье может служить выражение Мишеля Фуко: «К главному идешь пятысь». Мое собственное развитие как психолога — это инверсия временной последовательности возникновения и развития двух известных направлений российской психологии: первого — культурно-исторической психологии, второго — психологии деятельности. Я начал с последнего и постепенно иду к первому. Мои ранние работы, выполнявшиеся

под руководством А.В. Запорожца, были посвящены изучению перцептивно-моторных установок у детей-дошкольников; ориентировочным движениям руки и глаза при формировании двигательных навыков, а также при формировании зрительных образов и опознания у детей и взрослых. Затем я начал рассматривать зрительное восприятие как перцептивное действие и обнаружил такие акты даже в условиях стабилизации изображения относительно сетчатки. Вместе с Н.Ю. Вергилесом до Р. Шепарда мы обнаружили феномены оперирования и манипулирования зрительными образами (*mental rotation*) (Зинченко, Вергилес, 1969). Обратившись вслед за Р. Арнхеймом к визуальному мышлению, мы выяснили, что в решении мыслительных задач участвуют малоамплитудные движения глаз, посредством которых осуществляется не обследование внешней проблемной ситуации, а работа по ее преобразованию. Такие движения, в отличие от «внешних» перцептивных действий, были названы замещающими их викарными «внутренними» умственными действиями. Таким образом было обнаружено, что переход предметных действий «извне внутрь» предполагает смену «моторного алфавита» (Зинченко, Вергилес, 1969). Совместно с В.М. Гордон мы обнаружили, что моторика внутренней речи, посредством которой вербально фиксируются результаты преобразований зрительного образа, регистрируется со сдвигом по фазе относительно викарных и перцептивных действий. Аналогичным образом, речедвигательную моторику внутренней речи также можно рассматривать как викарную по отношению к громкой речи (Гордон, Зинченко, 1978).

Параллельно с изучением визуального мышления проводился большой цикл работ, направленных на изучение микроструктуры и микродинамики различных уровней (глубины) обработки в зрительной

кратковременной памяти. В ней наряду с репродуктивными мнемическими действиями были обнаружены и продуктивные умственные действия. Участие того или иного уровня обработки определяется задачами, которые ставятся перед испытуемым. Большинство различных задач, адресованных различным уровням: опознание, оперирование информацией, извлечение смысла, выбор требуемой информации и т.п., решаются примерно за одно и то же время (в пределах 200–300 мс – время типичной зрительной фиксации), что говорит не об иерархической, а о гетерархической организации уровней кратковременной зрительной памяти. В исследованиях такого рода трудно выявить участие моторики, кроме викарных действий в посттахистоскопических фазах предъявления информации (Зинченко, 1971).

Это заставило меня (вместе с Н.Д. Гордеевой (Гордеева, Зинченко, 1982)) обратиться к изучению действия как такового, погрузиться в микроструктуру и микродинамику живого движения. Пользуясь уроками, преподаанными нам А.А. Ухтомским, Н.А. Бернштейном, А.В. Запорожцем, М.И. Лисиной, мы обнаружили квантово-волновой характер дискретности живого движения, наличие в его биодинамической ткани двух видов чувствительности: чувствительность к смыслу ситуации и чувствительность к возможностям исполнения. Их сопоставление порождает феномен фоновой, т.е. недоступной сознательному контролю, рефлексии (Гордеева, 1995; Гордеева, Зинченко, 2001).

Во всех этих исследованиях я пренебрегал словом. Оно выступало для меня не более чем средством отчета испытуемых. Причиной этого было то, что в условиях советского идеологического общежития слово как таковое слишком дешево стоило. Оно было пустым и полым и выполняло функции даже не второй, а первой

сигнальной системы. (Хотя я сам всегда старался тщательно работать над своим устным и письменным словом.) Еще одним мотивом было преодоление пренебрежительного отношения к зрительному образу вообще и образному мышлению в частности. Такое отношение было не только в нашей стране, но и в других странах, о чем писал Р. Хольт (Хольт, 1971) в замечательной статье «Образы: возвращение из изгнания». Но у нас пренебрежение было вопиющим. И.П. Павлов отнес художников к первосигнальному, близкому к животному типу. И.В. Сталин заявил, что образного мышления не существует: мышление исключительно словесное. Причина отрицания понятна: слово поддается цензуре и запрету, образ запретить труднее, хотя, как показал более поздний опыт «Бульдозерной выставки», тоже возможно. И все же я жалею, что своевременно не прислушался к Н.И. Жинкину – ученику Г.Г. Шпета и замечательному исследователю механизмов речи и порождения речевого высказывания. Он, удивляясь моему пренебрежению словом, говорил, что действие, образ, мысль и слово – это почти одно и то же и уверял, что я обязательно приду к слову. Наверное, он был вещун.

Благодаря довольно позднему увлечению поэзией Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Райнера Рильке, Томаса Элиота, я, действительно, обратился к слову и культуре и даже написал книжку о поэтической антропологии (Зинченко, 1994). Удовлетворить интерес к слову помогли труды В. Гумбольдта, Г.Г. Шпета, П.А. Флоренского, М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили. Естественно, я вернулся к Л.С. Выготскому. Меня смущали его положения о наличии у ребенка натуральных, «низших» психологических функций, которые лишь в процессах интериоризации и интеллектуализации становятся высшими психическими функциями. Мне показалось, что такой

взгляд противоречит теории культурно-исторического развития психики и сознания. Он скорее напоминает постепенное оживление статуи — метафоры человеческого развития, предложенной в XVIII веке французским философом Этьеном де Бонно Кондильяком в его книге «Трактат об ощущениях». Поэтому я решил поближе присмотреться к детскому развитию в свете моих сегодняшних представлений о культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности.

## 2. Культура и / или деятельность?

Предлагаемый текст представляет собой попытку преодолеть некоторый когнитивный диссонанс, который я испытываю при восприятии рядом стоящих слов: «культура» и «деятельность». Мне кажется, что последнее все больше и больше поглощает первое. Вместе с культурой деятельность вытесняет человеческую субъективность. Подобное однажды случилось в советской психологии, когда теория деятельности заменила сознание и культуру как главную парадигму понимания человеческого бытия. Я вижу такую тенденцию не только в психологии и других социальных науках, но также в социальной реальности как целом. Под культурой я вслед за Г.Г. Шпетом понимаю «культ разумения», и прежде всего, слово, которое является архетипом культуры и воплощением разума. Культура — это не давно прошедшее, а бессмертное настоящее, которое нуждается в продолжении. Культура — приглашающая сила, а мы для нее — желаемость и ожидаемость. Хотя культура есть сила, выступающая в защиту слабого, она сама нуждается в защите, в том числе и от неразумной деятельности, которая ее нередко разрушает, как минимум деформирует. Надо ли говорить, что охотников защищать культуру всегда маловато.

Культура жива, пока она способна ставить себя под вопрос. Это относится

и к культурно-исторической психологии как таковой. Я далек от мысли драматизировать ситуацию, говорить о конце культуры или ставить под вопрос культурно-исторический подход к психологии. Моя цель скромнее: я хочу обсудить сложные взаимоотношения между культурой и деятельностью (словом и действием) и поставить некоторые вопросы, относящиеся к этой проблеме. Я предполагаю сосредоточиться на существенных аспектах раннего развития ребенка, чему в значительной мере способствует мой возраст, позволяющий мне посмотреть на развитие ребенка почти изнутри.

Сразу хочу предупредить, что тайна, магия слова состоит в том, что слово не репрезентирует, как часто о нем принято думать, а презентует культуру. Не только культуру, но и мир. Напомню Б. Пастернака: «*Образ мира в слове явленный*». Острее многих это чувствовал О. Мандельштам: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивала все другие факты полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествить с его бытийственностью. Слово в его эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие» (Мандельштам, 1987, с. 58–59). Слово не только главный принцип познания. Слово — главное основание человеческого бытия: не только *ratio cognoscendi*, но и *ratio essendi*. Тезис, который я собираюсь доказывать и развивать, состоит в том, что сказанное о слове справедливо для всех стадий развития ребенка, начиная с младенчества. Доказательство сложно, поскольку выдающиеся исследователи детства — Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Д. Брунер и др. постулировали наличие довербальной стадии развития психики и мышления. По их мнению, слово начинает принимать участие в развитии

детей примерно в возрасте около двух лет. Л.С. Выготский соглашается с И.В. Гете: «Слово не было вначале. Вначале было дело. Слово образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец, который венчает дело» (Выготский, 1982, т. 2, с 360). Ж. Пиаже, вслед за ним Д. Брунер относили речевое развитие ребенка к третьей (после действия и воображения) стадии развития. Разумеется, нет сомнений, что их теории внесли огромный вклад в наше понимание детского развития и лежат в основе современных поисков в этой области. Они остаются наиболее актуальными и в третьем тысячелетии. Я, однако, думаю, что представление о столь позднем «вмешательстве» слова в ход детского развития ведет к разрыву между действием, образом и словом, маскирует присущее им единство. В итоге сильно упрощается общая картина стадий детского развития. Ситуацию в целом можно охарактеризовать следующим образом: на ранних стадиях так называемого довербального интеллектуального и коммуникативного развития ребенка недооценивается когнитивный потенциал слова, а на более поздних стадиях недооценивается когнитивный потенциал действия, образа, аффектов. Последние характеризуются как невербальные.

С чего же начинается развитие? С культуры или с деятельности? Со слова или с действия? Или возможно иное решение? Такая искусственная «бифуркация» напоминает старую дихотомию между нативизмом и эмпиризмом, природой и воспитанием. Эта традиция оказалась достаточно живучей. И сегодня нередко встречаются взгляды, согласно которым «речь – поздний феномен в онтогенезе»; «большинство психологических функций развивается до речи» (Сергиенко, 2006, с 302). При этом не учитывается, что есть большая разница между «вербальным» и «вербализованным», между «вербальностью» и «вербализацией».

На таком весьма шатком основании построены распространенные сравнительные исследования мышления антропидов с мышлением детей до 2–3-летнего возраста.

При этом забывается, что как бы мы далеко не удалялись в глубь истории человечества, мы нигде не найдем человека без труда, сознания и языка. А если найдем, то это будет не человек. Не то же ли самое верно для индивидуального развития человека? *В теории* культурно-исторической психологии Л.С. Выготского это так. *А на практике*, даже в его лице, психология развития продлевает существование натуральных, низших психических функций на 1,5–2 года. Важен даже не временной, так сказать, хронологический разрыв между словом, делом, образом, а важно то, как его преодолеть. Не следует забывать опыта А. Бергсона. Изначально разделив память материи и память духа, он так и не сумел сколько-нибудь непротиворечиво их соединить.

### 3. Внешние и внутренние формы

Я предлагаю альтернативный взгляд на роль слова в детском развитии. Начну со слишком хорошо известной оппозиции «внешнего» и «внутреннего» и взаимоотношений между ними. Мы столь часто употребляем термины «интериоризация» и «экстериоризация», что они стали магическими и внушают нам иллюзию понимания взаимоотношений между внутренними психическими феноменами и внешней предметной деятельностью. Споры нет, что интериоризация и экстериоризация играют решающую роль в детском развитии, эти процессы представляют собой хорошо изученные эмпирические факты. Но они мало помогают нам в том, чтобы понять, что же такое «внутреннее». Не так уж много они говорят и о природе «внешнего», поскольку исследователи, не разобравшись как следует в нем, спешат его интериоризировать. В советской

психологии был забавный эпизод, когда диссертант-психолог с гордостью рассказывал, что ему удалось так хорошо сформировать у старшеклассников навыки сельскохозяйственной работы, что они выполняли ее во внутреннем, интериоризованном плане. Видимо, и картошка тоже росла в их воображении. Подобная поспешность «овнутривания» внешнего далеко небезобидна.

В истории отечественной психологии только ленивый не критиковал американский бихевиоризм. И совершенно напрасно. Бихевиористы – великие мастера анализировать, оценивать, совершенствовать, нормировать и формировать внешние формы поведения. Они не спешили его интериоризировать. Лишь спустя четверть века после публикации статьи Дж. Уотсона «Психология с точки зрения бихевиоризма» (1913), ставшей манифестом бихевиоризма, появился необихевиоризм в лице Э. Толмена и его школы (1929), обратившийся к изучению внутренних приводящих переменных, влияющих на поведение, а то и определяющих его. Потом появились ментализм, когнитивная психология и пр. Однако поведенческая наука жива и поныне: она породила, или как минимум повлияла на весь цикл наук о труде, на менеджмент, организационную психологию, образование, обучение и развитие персонала и т.д., другими словами, на всю американскую культуру и цивилизацию. Организация поведения в США сыграла роль европейского просвещения и нужно отдать ей должное – эффективно использовала его плоды. А мы в это время были заняты революциями, войнами, в промежутках выращивали плодотворные ростки психотехники, педологии, социологии, этической и социальной психологии, а затем, не дав им вырасти, жестоко выпальвали, нередко вместе с их создателями. Разумным формам организации поведения, которых, кстати, не так уж мало было в

старой и первые 15 лет существования Советской России, противопоставили создание «нового человека», а поведение «ветхого» человека организовывалось гулаговскими методами. Возникший вполне плодотворный деятельностный подход в психологии оставался преимущественно в академической сфере и в сфере образования.

В его рамках упоенно спорили: «внешнее действует через внутренние условия» или «внутреннее действует через внешние условия». Такие споры изредка возобновляются и сейчас, хотя, если придерживаться этой терминологии, значительно более важно понять, как «внешнее» деформирует «внутреннее», насколько успешно «внутреннее» может сопротивляться давлению «внешнего», возможны ли между ними, если и не гармония, то хотя бы мирное сосуществование. Вот как об этом же (без терминов «внешнее» и «внутреннее») писал А.А. Ухтомский: «Способность сохранить свою устойчивость перед лицом опыта, а затем – способность расширить свою устойчивость через обогащение опытом – вот два великих достижения жизни» (Ухтомский, 1996, с. 367).

В спорах о главенстве внешнего или внутреннего, о том, что преломляет и что преломляется, умудрились не заметить, что В. Гумбольдт и Г.Г. Шпет давно предлагали заменить неопределенные понятия «внешнего» и «внутреннего» понятиями «внешняя» и «внутренняя» формы. Это не просто замена понятий, а давно назревший путь к преодолению традиционной оппозиции между внешним и внутренним. П.А. Флоренский говорил, что слово – это посредник между внешним и внутренним мирами. Оно, как амфибия, живущая и там и тут, устанавливает нити между двумя мирами (Флоренский, 1990, с. 252). Слово – это не «воздушное ничто», не пустой звук. Внешняя форма слова несет в себе все



богатство его внутреннего содержания; слово — живой организм, имеющий свою структуру и свои энергии. В этом организме слиты субъективное и объективное: «Акт речи, даже самый обыкновенный, есть завершение всего внутреннего созревания известного процесса, последняя стадия субъективности и первая объективности» (там же, с. 269).

Описание взаимодействия внутренних и внешних форм слова, образа и действия, как и описание динамических структур каждой из этих форм, не входит в задачу настоящей статьи, частично оно было выполнено в моих прежних работах (Зинченко, 2000, 2003, 2008а, в). Здесь я ограничусь лишь итоговой иллюстрацией (см. рис.).

На рисунке схематически представлены внешние и внутренние формы слова, действия и образа. Слово, рассматриваемое как внешняя форма, включает в свой состав в качестве своих внутренних форм действие и образ. Действие, рассматриваемое как внешняя форма, включает в качестве внутренних форм слово и образ. Наконец, образ, рассматриваемый

как внешняя форма, включает в качестве внутренних форм слово и действие. Основания для такого заключения имеются в исследованиях внутренней формы слова (Г.Г. Шпет), в исследованиях внутренней формы движений и действий (Н.А. Бернштейн, Н.Д. Гордеева), в исследованиях внутренней формы образа (А.В. Запорожец).

Все перечисленные внутренние формы имеют динамическую природу. Они обеспечивают возможность нахождения адекватного значения слова без его громкого произнесения и даже без произнесения про себя. Мы можем манипулировать образами и генерировать новые с помощью нашего «разумного глаза» или «глазастого разума». Мы можем выполнять действия до действия в своем воображении до их актуализации во внешнем плане и т.п.

Значения и смыслы, несомненно, входят во внутренние формы слова. Но не только. Предметные, перцептивные и операциональные (моторные) значения («ручные понятия») и смыслы входят во внутренние формы образа и действия.

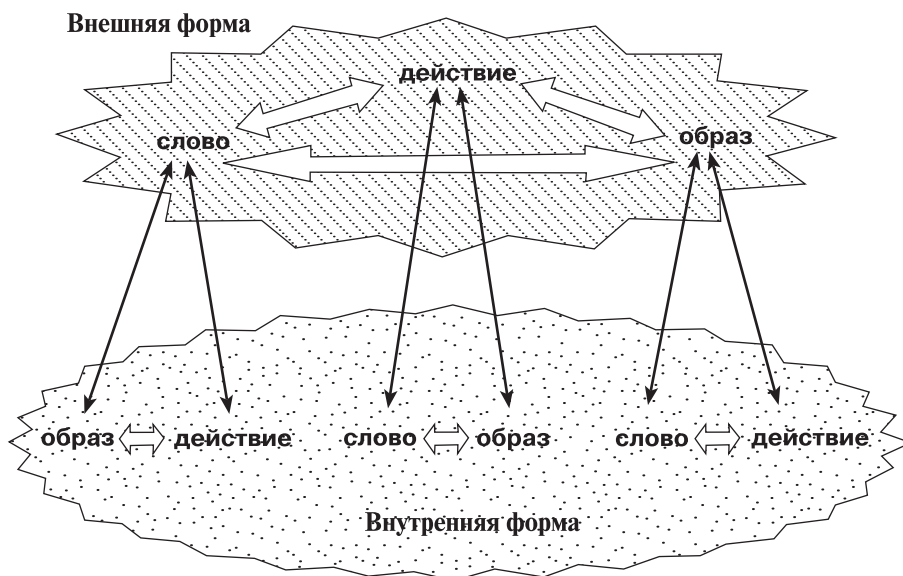


Рис. Взаимодействие форм в концептуальной модели

В них присутствуют динамические (логические и «алогические») формы. Таким образом, мы можем говорить об общности строения слова, образа и действия. Все они имеют свои внешние и внутренние формы, которые обогащают, взаимопроникают и в известных пределах взаимозаменяют друг друга. Слово, образ, действие входят в состав других внутренних форм не в первоизданном, а в сокращенном, превращенном, возможно, и в извращенном виде. В таком гетерогенном единстве слова, образа и действия доминирующая роль принадлежит слову как главному носителю значения: оно не только способствует развитию действия и образа, но и лежит в их основании. Р. Вагнер говорил, что слово лежит в начале его музыкальных произведений. Понятое так полное слово есть не только архетип культуры, но и ее геном, в котором потенциально содержатся другие медиаторы: знак, символ, миф и т.д., имеющие в свою очередь собственные внешние и внутренние формы. Взаимное прорастание внешних и внутренних форм слова, образа, действия оказывается настолько полным и плотным, что требуется разработка специальных методов психосемантики, чтобы из образующихся единств выделять вербальные, перцептивные, операциональные и другие значения (Петренко, 2005).

Приведенные размышления о взаимодействии внешних и внутренних форм слова, действия и образа отвечают воззрениям Г.Г. Шпета: «Чувственность и рассудок, как равным образом, случайность и необходимость, — не противоречие, а корреляты. Не то же ли в искусстве, в частности, в поэзии: воображение и разум, индивидуальное и общее, «образ» и смысл, — не противоречие, а корреляты. Внешняя и внутренняя формы не противоречие и взаимно не требуют преодоления и устранения. Они разделены лишь в абстракции и не заключительный синтез

нужен, нужно изначальное признание единства структуры» (Шпет, 2007, с. 369–370). Едва ли сегодня нужно специально аргументировать, что сказанное Шпетом относится к единствам структур чувственности и движения, образа и действия, аффекта и интеллекта, в которые входит и слово. Слово, образ и действие, взятые во всем богатстве внешних и внутренних форм, на самом деле представляют собой сложнейшие кентаврические образования, своего рода метаформы — стустки смысла, энергии и силы, эмоций и аффектов, в которых доминирует слово:

Солнце останавливали словом,  
Словом разрушали города.

*Н. Гумилев*

Стустки эмоций, аффектов:

Слово — чистое веселье,  
Исцеленье от тоски.

*О. Мандельштам*

Об этом же А. Ахматова:

Внезапная тоска неназванных желаний.

И снова О. Мандельштам:

Мы только с голоса пойдем,  
Что там царпалось, боролось.

Неназванность не всегда фрустрирует. Есть *прелесть неназванного мира* (В. Набоков).

Слово не только лечит, оно бывает и *непоправимым*: «В чем истинность: слово в сознание вносит не идиллию, но драму, даже трагедию (неразрешимую). Вообще жизнь сознания в отличие от жизни организма — (этим сознание и стоит вне органической жизни) — не идиллия, не покой Спинозы, но трагедия: amor fati», — писал Л.С. Выготский (Завершнева, 2008, № 2, с. 132).

Конечно, слово двойственно: при всей его потенциальной значимости и силе, оно и самое пустое и сорное, что есть среди вещей. Но все же оно единственное, в чем человек может найти себя. Как



заметил В.В. Бибихин, граница, однако, проходит не через слово, а через нас.

#### 4. Семенной логос

Как же образуется изначальное единство структур-метаформ слова, образа и действия? Ответ, видимо, скрыт в психологии развития. Очевидная гетерогенность слова, образа, действия предполагает их гетерогенез, к которому мы обратимся. Моя гипотеза состоит в том, что слово сопутствует человеку с момента рождения и до того, как проявиться во всей пышной красе (или уродстве) своих внешних форм, оно проникает, если угодно, интериоризируется или интроцируется во внутренние формы движений, действий, образов, аффектов ребенка. Для такого слова имеются названия: «живой зародыш нескончаемых формаций» (Гумбольдт), «эмбрион словесности» (Шпет), «невербальное внутреннее слово» (Мамардашвили), «говорящее молчание» (Бибихин), «мудрое безмолвие» (Мандельштам). Возможно, понимание подобных «странностей» облегчит разъяснение О. Мандельштама: «Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта» (Мандельштам, 1987, с. 42).

О «семенном логосе» говорили античные философы. «Эмбрион словесности», «семенной логос» — это точные наименования для энергичной, активной, ищущей, порождающей внутренней формы слова, которая не нашла еще (или потеряла) выражения в имманентной ей внешней форме и остающейся до поры до времени скрытой под поверхностью других языков: моторных, перцептивных, знаково-символических и т.д. Если угодно, скрытой под покровом детского «комплекса оживления», плача, гуления,

лепета, а потом — взрослого молчания. Замечательно сказал О. Мандельштам:

Он опыт из лепета лепит  
И лепет из опыта пьет.

Проникновение слова в душу младенца — это таинство, как, впрочем, и сама душа. М.М. Бахтин говорил, что душа — это дар моего духа другому человеку. Лицо склонившейся над ребенком матери — это одновременно душа, образ и слово:

Духовное — доступно взорам,  
И очертания живут.

*О. Мандельштам*

Мать дарит душу своему чаду от избытка любви, великодушия; дарит вместе со словом и посредством заботы и голоса. По крайней мере, с позиций философского толкования христианства — это не слишком вольное предположение. Прислушаемся к словам теологов. Православный философ П.А. Флоренский, приводя высказывания Сократа и Платона о «семенном слове», ссылается на Евангелие: «семя» притчи о сеятеле, по объяснению Спасителя, «есть слово». Флоренский разъясняет сходство слова и семени: «половая система и деятельность находят себе точное и полярное отображение в деятельности голосовой... Выделения половые оказываются гомотипичными выделениям словесным, которые созревают подобно первым и исходят наружу для оплодотворения... Но чтобы там ни возникали против капли семени и как бы ни считали ее “просто” жидкостью и притом количественно ничтожной, а тем не менее она производит зачатие — и рождается человек. И речь, как ни считают ее бессильной, действует в мире, творя себе подобное. И как зачатие может не требовать лично-сознательного участия, так и оплодотворение словом не предполагает непременно ясности сознания, раз только слово уже родилось в общественную среду от слова-творца или, точнее, слова-

культиватора, бывшего ранее» (Флоренский, 1990, с. 272–273).

Аналогичные размышления мы находим у католического философа-библеиста К. Тресмонтана, который писал, что сама Дева Израиля (как и прежде его народ) была предуготована библейской структурой человеческого мышления и языка к восприятию слов Бога живого, а также к тому, чтобы получить и выносить Логос, Который стал плотью, чтобы явиться нам (Тресмонтан, 1996, с. 66). Значит, Слово (Логос) есть дар, духовный Зачаток, подобный античному «семенному логосу», передающийся из поколения в поколение. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Иоан. 1: 1-4). Такое культурное толкование библейской истории о непорочном зачатии более природосообразно по сравнению с его буквальным значением. Порожденное материнской любовью слово, действительно, непорочно. Оно, как тонко заметил В.В. Библихин, привлекает младенца не своим установившимся значением, сколько своей значимостью. Значимость слова — не информация и близка к многозначительному молчанию (Библихин 1993, с. 32). Первоначально голос и слово сами становятся значимыми событиями мира, захватывающими ребенка. Лермонтовские строки:

Есть речи — значение  
Темно иль ничтожно,  
Но им без волненья  
Внимать невозможно.

относятся (не в последнюю очередь) к первоначальным формам общения матери и ребенка.

П.А. Флоренский размышляет о механизме влияния слова: «Можно сказать, что в слове исходят из меня гены моей личности, гены той личностной генеалогии, к которой принадлежу я. И потому, словом своим входя в новую личность, я зачинаю в ней личностный процесс» (Флоренский, 1990, с. 271). И далее автор говорит о том, что слово — это первичная

клетка личности, ибо и сама личность есть не что иное, как агрегат слов, синтезированных в слово слов — имя.

### 5. Порождение слова

Вернемся к детству. Дар любви замечателен тем, что он не скудеет от дарения, а прирастает у дарителя, не ожидающего ответного дара. «*И дара нет тому, кто дар*», — сказал поэт Вячеслав Иванов, имея в виду Бога. Дар питается радостным и благосклонным откликом принимающего, у которого полученный дар также не остается неизменным: он растет, чтобы в свою очередь быть возвращенным дарителю или подаренным другому. М.И. Лисина характеризовала младенчество как золотой век общения — общения бескорыстного, бесцельного, непреходящая ценность которого заключена в нем самом. Она характеризовала появляющуюся у младенца в первые недели жизни потребность в общении как духовную (Лисина, 1986, с. 51–52). Это протосемиотическая коммуникация, полная предшествующего значениям ощущаемого смысла. Ее смысл впоследствии трансформируется в значащее ощущение, а затем в чувство, в слово, в знание. А.В. Запорожец, как бы подчеркивая реальность, вещественность великодушного дара матери, ее любви и заботы, говорил о «пилюлях любви», в которых особенно остро нуждается младенец и от которых он не отказывается, став взрослым.

Принятие ребенком проникающего в его душу слова происходит на уровне чувственного постижения, проникновения, а не понимания. К. Юнг назвал бы проникающее в душу слово автономным комплексом души, который по мере своего созревания и развития «освобождает душу из тесноты» (В.Б. Шкловский), приобретает над его носителем тираническую силу и стремится наружу. Как мандельштамовский «звучащий слепок формы» у поэта.

В отличие от того, как предмет в темноте одевается светом молнии, проникающее в душу слово Другого начинает освещать образ предмета изнутри, и лишь много позже, будучи произнесенным, — снаружи. Прислушаемся к размышлениям О. Мандельштама: «Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, «система». Значимость слова можно рассматривать, как свечу, горящую в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре» (Мандельштам, 1987, с. 66), то есть слово и внутри, и вовне. Опрометчиво рассматривать его только как внешний по отношению к индивиду сигнал или даже как сигнал сигналов. С самого раннего возраста слово становится неотъемлемой частью складывающихся у ребенка образа мира и образа возможных действий в этом мире.

Пора, наконец, поверить поэту М. Волошину, говорившему, что «*Ребенок — непризнанный гений среди буднично серых людей*», которым, видимо, морально тяжело признать детскую гениальность. Она проявляется, прежде всего, в неправдоподобно быстром, можно сказать, стремительном овладении главным достижением народного духа — словом.

Раньше или позже бескорыстие сменяется требовательностью. Прислушаемся к тому, как бл. Августин говорил о дарах извне и в него вложенных: «Уже тогда я умел сосать и успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств — пока это было все. Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям — но знаки эти не выражали моих желаний. Да, я был и жил тогда и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том,

что я чувствовал» (Августин, 1991, с. 58). И, наконец, о слове: «Впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестах, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигивания, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания» (там же, с. 60–61).

Это дотеоретическое описание латентного овладения словом, выполненное человеком, который не испорчен предвзятыми схемами научной психологии. В описании идет речь не только о дарах, но и о собственной активности младенца, о его разуме, в частности о порождении им знаков. Много столетий спустя об этом писали К. и Ш. Бюллеры, Л.С. Выготский, Д. Верч и другие психологи, а также психоаналитики, о которых разговор впереди.

Известно, что ухо младенца с первых недель жизни выделяет фонемы родного языка и становится «глухим» к фонемам других языков. Значит, атмосфера языка, в которой находится ребенок, для него не безразлична; она является важнейшим условием его существования и развития. При восприятии (ощущении?) речи новорожденный активен. На третьей-четвертой

неделе жизни наблюдается слуховое сосредоточение или ориентировка на голос взрослого: ребенок замолкает, становится неподвижным. Тогда же появляется и первая человеческая улыбка. Многие авторы датируют ее появление двадцать первым днем жизни. К.Н. Поливанова следующим образом описывает ее появление: «Мать, чрезвычайно чувствительная к состоянию младенца, всякий раз, наклоняясь к ребенку, ловит выражение его лица и улыбается. В какой-то момент улыбка матери и улыбка младенца совпадают, и происходит своеобразная амплификация мимики двух людей. Фактически мы имеем пример удвоения улыбки матери улыбкой ребенка, своеобразное воссоединение ситуации общения, доверия, приятия (не важно, в какой терминологии этот акт будет описан)» (Поливанова, 2004, с. 112). Автор возражает против трактовки улыбки как знака, так как не видит здесь коммуникации в привычном значении этого термина. Зато видит нечто большее, рассматривая эту ситуацию как создание психологического пространства, впервые возникающего как общее и внезапное (или дознаковое). В таком одушевленном, живом пространстве начинается идентификация младенца и рождается партнер будущего полноценного общения. Идентификации способствует «инициация ребенка в язык», которую описывает итальянский психоаналитик С. Бенвенуто: «Когда ребенок плачет, его мать может *интерпретировать* его всхлипы не только тем, что даст ему грудь или бутылку с молоком, но также тем, что умильно произнесет: “Проголодался...” Тот факт, что мать не только действует, но также говорит, неизбежно завлекает ребенка. По Лакану, мать не только по-своему интерпретирует потребность в издаваемых ребенком звуках, но также, что более важно, обучает ребенка, *как интерпретировать его собственное желание*. Таким образом, ребенок впоследствии говорит

себе: «В тот момент я хотел материнского молока». Психоаналитическая интерпретация вторична, она работает с предварительной интерпретацией, выполняемой материнским языком. Интерпретируя, она предписывает — и, таким образом, по Витгенштейну, мать есть «первый психоаналитик субъекта»» (Бенвенуто, 2006, с. 48). Благодаря словам матери младенец навсегда оказывается захваченным языком: он будет интерпретировать свое собственное желание в соответствии с материнскими словами... (там же, с. 110–111). А там, где желание, там и эмоции, зарождающиеся чувства. Значит, слово проникает не только во внутреннюю форму образов и действий, но также и чувств. Благодаря этому, они впоследствии могут быть означены, названы.

Младенец ждет слова и уже в двухмесячном возрасте фиксирует свой взор преимущественно на глазах и губах взрослого (Ф. Салапатека). Он, почти по А.С. Пушкину, стремится

Улыбку уст, движенья глаз  
Ловить влюбленными глазами...

Возникшая в таком нежном возрасте «способность» сохраняется на всю жизнь, поскольку «*Любви все возрасты покорны*». Младенец ждет слова так же, как ждет и ищет телесного контакта с матерью. Он впитывает (практически с молоком матери) человеческое и человеческое слово, и оно становится «семенным логосом», который практически сразу начинает прорастать. У младенцев от трех месяцев до года в контексте игрового поведения с матерью наблюдалась «игровая улыбка» (с открыванием рта). Д. Мессингер с коллегами трактовал ее как выражение удовольствия или стремления пососать материнскую руку или грудь (Messinger, Fogel, Dickson, 1997). С. Тревартен (Trevarthen, 1975) снимал на кинолентку поведение пяти младенцев от одной недели до пяти месяцев жизни в двух ситуациях: в присутствии матери и игрушки.

Обнаружилось, что с первых недель жизни мать вызывает у ребенка поведение, отличное от поведения, вызываемого игрушкой; он проявляет два разных «интереса», два вида спонтанной активности по отношению к игрушке и матери. Наибольшие отличия оказались в выражении лица, в вокализациях и положениях рук ребенка в этих двух ситуациях. А именно, у ребенка была выявлена другая динамика положения рук, пальцев рук, а также губ, положения языка при восприятии речи матери (слушает и вокализует), чем в ответ на предмет. Если угодно, ребенок как бы причащается или вкушает материнское слово.

В качестве отклика на материнскую любовь, заботу и слово можно рассматривать гуление младенца, наблюдаемое между десятой и двенадцатой неделями жизни. В возрасте примерно четырех месяцев младенец переходит к лепету, хотя до девяти месяцев его лепет слабо связан с языком его взрослого окружения. Гуление и лепет, конечно, спонтанны, но нельзя признать спонтанным исчезновение из лепета звуков, чуждых языку окружающих. Начинаются попытки воспроизведения воспринимаемых им звуков родной речи.

Интересна в этом смысле эволюция детского плача, названного Ч. Дарвиным головоломкой. Взрослые проникают в смысл детского крика, интерпретируя его как крик о помощи. Они легко научаются различать, когда ребенок голоден или когда у него что-то болит. Но он может говорить и о большем. Не случайно у младенца от полутора до трех месяцев плач спонтанен и разнообразен, но, согласно наблюдениям Е.В. Чудиновой (Чудинова, 1986), начиная с трех месяцев, мать выделяет несколько видов (от трех до девяти) плача, который можно считать «договорным». Слыша плач ребенка и подходя к нему, она уже знает, чего ему недостает. Это означает, что ребенок

научается, если и не контролировать, то различать свои состояния и сообщать о них окружающим. Довольно рано появляется и лукавство.

Следует обратить внимание на термин «порождение» (знака). Это не отрицание интериоризации. Для того чтобы нечто вросло, его вначале нужно вырастить. «Вращивание» и «выращивание» идут рука об руку, что и наблюдается уже на первом году жизни. Это положение adeptы интериоризации обычно недооценивают, ставя акцент на вращивании. Порождение знака эквивалентно порождению культуры, которая все превращает в знак, в текст. Ребенок является не просто потребителем культуры, а соучастником, партнером ее создания. Такое соучастие облегчает понимание речи взрослых, которое интенсивно развивается со второго полугодия. Примечательны данные Г.Л. Розенгард-Пупко, специально изучавшей условия, максимально содействующие пониманию речи. Оказалось, что в ситуации удовлетворения потребности и ухода за ребенком от него можно добиться понимания слов, относящихся к действиям с предметами, но невозможно организовать понимание названия предметов. Ситуацией, наиболее способствующей пониманию названий, является зрительное восприятие и рассматривание этих предметов (Эльконин, 1960, с. 89–90). Если воспользоваться терминологией Шпета, то можно сказать, что и в той, и в другой ситуации узрение дополняется уразумением.

Очевидна активность и самостоятельность ребенка в произнесении первых слов, которое начинается с конца первого года жизни. Это больше, чем память, это порождение. «Семенной логос» делает свою работу, итогом которой становится язык как культурное растение, вырастающее в плодотворной почве образов и действий, щедро орошаемой эмоциями. Оно может и прозябать, что уже происходит



и что было предвидено поэтом: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова» (Мандельштам, 1987, с. 60). Если подобное случится, то утверждение поэта: «Над нами варварское небо. Но мы эллины» покажется чрезмерно оптимистическим.

Изложенного выше достаточно для заключения, что у человека с самого раннего детства все языки становятся вербальными, поскольку их оплодотворяет проникающее в их внутреннюю форму слово. Внутри них оно созревает и растет, становится гетерогенным. Оно вбирает в себя предметные, операциональные и эмоциональные значения. Как заметил М.М. Бахтин, слово *набирает глубину*, а не высоту и ширь (Бахтин, 1996, т. 1, с. 399). (Высокопарное слово чаще всего пусто.) И такое, пусть еще «зеленое», но уже созревающее и растущее слово хочет быть услышанным, понятым, ответченным.

Косвенным подтверждением этого является хорошо известный взрывной характер начала детского говорения (М. Монтессори называла это «эксплозией» детского языка, С. Пинкер — «извержением вулкана», Н. Хомский — «мгновенным»), когда ребенок захлебывается в словах и фрустрирует по поводу непонимающего взрослого. Поражает то, что ребенок не учился говорить и заговорил, как бы сразу начал удовлетворять давно назревавшую потребность, а, возможно, и осуществлять свое предназначение. Потребность ребенка в языке становится одной из самых сильных. В. Гумбольдт

характеризовал ее как душевное требование облечь и вынести в звук все, что только воспринимается и ощущается. «Эксплозия» — взрыв, «извержение», «мгновение» — это бесспорная, но лишь внешняя сторона дела, явление, феномен. На самом деле это хорошо подготовленный экспромт. Для его подготовки требуется полтора-два года.

Какова перспектива ближайшего развития слова? Когда слово выходит вовне, приобретает внешнюю форму, человек становится целостным голосом, он вступает в незавершимый диалог. Он участвует в нем не только своими мыслями, но и судьбой, страстями, всей своей индивидуальностью. Сама личность есть слово и требует своего понимания, — говорил Г.Г. Шпет. И это не только слово слов — имя, как у П.А. Флоренского. Она, личность, подобно слову, имеет свои чувственные, онтические, логические и поэтические формы (Шпет, 1989, с. 471).

Приведенные размышления позволяют иначе взглянуть на весь ход духовного и психического развития ребенка. Можно предположить, что около двухлетнего возраста ребенок, как поэт, преодолевает трудности воплощения души в звуке, и слово, наконец, находит свою внешнюю форму. Этот процесс качественно отличается от окультуривания «натуральных», «низших» (в терминологии Выготского) психологических функций. Я убежден, что сфера культуры преобладает над природой ребенка. Сомневаюсь даже, что у ребенка вообще имеются натуральные, низшие или примитивные психические функции. Слово *изначально* становится не только важнейшим жизненным фактом, но и актом — актом духовным и культурным. Как я старался показать выше, развитие ребенка начинается с «верхнего до», с образования духовного, символического слоя сознания, с «вершинной психологии», с конгениальности младенца высшим проявлениям



человеческого духа, выражающимся в материнской любви к своему чаду. В поисках истоков «вершинной психологии» вовсе не обязательно обращаться к инстинктам или дурно понятому бессознательному. «Глубинная психология» со всеми ее каверзами и внутренними распрямами возникает в ходе развития много позже. Человек с момента рождения входит в мир, в мир человеческой культуры. И с этого момента начинается не просто приобщение к культуре, а начинается его духовное и культурное развитие. В частности, оно сопутствует возникновению чувства базового доверия (Э. Эриксон) и возникновению иллюзии omnipotency — всемогущества (Д. Винникот), готовит более позднюю стадию зеркала, начало которой Ж. Лакан датирует 6-месячным возрастом. Все это, по сути дела, является младенческим прототипом или предвестником магической стадии в развитии ребенка, начало которой Л.С. Выготский датировал дошкольным возрастом. Идентификация и сопровождающие ее чувства строятся в живом пространстве между Я—Ты (М. Бубер), и в нем же, благодаря бескорыстному общению, затем — совокупному действию младенца со взрослым, создается представление о себе. Ребенок начинает видеть себя в Другом, он удваивает себя, благодаря Другому, создает символическое зеркало Я как инструмент идентификации. И пользуется им до конца жизни.

В конце концов, не столь важно, какое из многочисленных событий жизни младенца представляет собой точку схождения природы и культуры. Существенно, что такая точка находится в том нежном возрасте, когда младенец в построенном и одушевленном пространстве любви и общения, порождая знаки, понятные взрослому, творит культуру. П.А. Флоренский называл подобное прорастанием себя в диалоге и в молчании. Последнее не следует недооценивать.

## 6. Доопытное начало культурного развития

Нам нужно обсудить или хотя бы обозначить еще один важнейший вопрос. Выше говорилось о том, что душа, любовь, слово — есть дары, полученные от Другого. Но ведь не всякий дар мы способны принять. Нужно быть достойным дара, должна иметься доопытная способность и готовность к его принятию. Что они собой представляют? Таким образом, мы вновь обращаемся к классической «проблеме начала». Не помогает ее решить и логика гетерогенеза, она, скорее, снимает ее, как бы уравнивая образ, движение, чувство со словом. У О. Мандельштама есть такие строки:

И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты.

Что это за доопытные черты, которые могут служить началом, основанием последующего опыта и развития? Августин был уверен, что свои дары он получил от Бога. Он исходил из того, что это было возможно, поскольку человек был создан по образу Божьему. Равным образом, согласно К. Тресмонтану, Дева Израиля была подготовлена к тому, чтобы услышать и принять слово Бога библейской структурой человеческого мышления и языка. Хорошо теологам! Но что делать психологии, которая должна предложить свое объяснение, как ребенок оказывается способным к принятию даров культуры и слова? Я думаю, что здесь также имеется определенная доопытная готовность, способность и склонность к принятию этих даров. Я не имею в виду так называемые «низшие», натуральные функции. Напротив. Я думаю, что ребенок с самого начала был создан как бы «по образу культуры» и наделен возможностью (и обязанностью) понять и принять культуру, вместить ее в себя. Такая готовность — не результат детского развития, но скорее совокупность необходимых условий, обеспечивающих

его возможности. (Обсуждая проблему начала культурного развития, я оставляю в стороне идеи И. Канта об априорном восприятии перцептивных категорий пространства и времени.)

Было немало попыток описать подобные условия. Н. Хомский предположил существование врожденных «генеративных лингвистических структур»; Д. Боулби предположил наличие у ребенка «генетически запрограммированной» готовности к привязанности к своему первому воспитателю; Д.Н. Узнадзе говорил о «предпсихических установках, которые не являются результатом опыта»; Дж. Брунер изучал «готовность к восприятию»; П. Фресс описывал присущий ребенку «потенциал активности». Все примеры детской доопытной готовности могут быть обозначены как готовность ребенка к принятию и пониманию человеческого мира, в который он пришел. Читатель, видимо, обратил внимание, что у всех приведенных авторов речь идет о *начале*.

Но начало началу — рознь. Прислушаемся к М.М. Бахтину, писавшему о начале в нередко свойственном ему лапидарном стиле: «Свести к началу, к древнему невежеству, незнанию — этим думают объяснить и отделаться. Диаметрально противоположная оценка *н а ч а л* (раньше священная, теперь они профанируют). Разная оценка *д в и ж е н и я в п е р е д*: оно мыслится теперь как чистое, бесконечное, беспредельное удаление от начал, как чистый и безвозвратный уход, как движение по прямой линии. Таково же было и представление пространства — абсолютная *п р я м и з н а*. Теория относительности впервые раскрыла возможность иного мышления пространства, допустив *к р и в и з н у*, загиб его на себя самого, и, следовательно, возможность возвращения к началу. Ницшевская идея вечного возвращения. Но это особенно касается ценностной модели становления *п у т и*

мира и человечества в ценностно-метафорическом смысле слова. Теория атома и относительность большого и малого. Две бесконечности — вне и внутри каждого атома и каждого явления» (Бахтин, 1996, т. 5, с. 135). Далее автор возражает против порочной и упрощенной примитивизации первобытного мышления и резонно замечает, что «не делают контрольной попытки рассмотреть современное мышление на фоне первобытного и оценить его в свете последнего» (там же). С тех пор, как написаны эти слова, культурная антропология «оправдала» первобытное мышление, зоопсихология и этология — мышление животных. Началось и оправдание «несмышлениша» — человеческого младенца.

Существенны требования к *началу*, сформулированные М. Хайдеггером: начало, поскольку оно начало, должно быть непосредственным. Начало не может быть примитивным, поскольку у примитивного (например у инстинктов, у рефлексов, у натуральных функций) нет будущего. Примитивное не способно давать ничего, кроме того, в плену чего находится оно само. Подлинное начало, напротив, всегда содержит в себе неизведанную полноту небывалой огромности, а это значит — спора со всем бывалым. Подлинное начало, как скачок, всегда есть *за-скок* вперед, оно скрыто содержит в себе конец (Хайдеггер, 2008, с. 213).

Что же в нашем случае может удовлетворить таким высоким требованиям к «началу»? Самый легкий и, к сожалению, очень распространенный ход мысли состоит в том, чтобы поместить истоки опыта, мысли, слова, сознания в мозг, в чем преуспел Н. Хомский, постулировавший наличие в мозгу врожденных лингвистических структур. Близкие идеи задолго до Хомского высказывали К. Гольдштейн и Г. Хеб. Полемизируя с ними, Выготский формулирует свою позицию: «В мозгу и его функциях в натуралистическом плане

нет и не может быть соответствующих речи структур, они возникают сверху — из психологических структур (два мозга, взаимодействующие через историко-культурную среду). В слове — источник новых мозговых структур, а не все возможности операций со словом заложены в морфологической структуре мозга» (Завершнева, 2007, с. 75–76). Выготский меняет аспект рассмотрения психофизической проблемы: вместо старой дилеммы «тело—душа» он предлагает обратить внимание на другую: «Это страшно важно: речь / мышление как психофизическая проблема» (там же). Полемика с Гольдштейном и Хебом может рассматриваться и как ответ, упреждающий гипотезу Хомского.

Вдохновенно и мило на тему «слово и мозг» писал А.Ф. Лосев: «Слово есть... некоторый легкий и невидимый, воздушный организм, наделенный магической силой чего-то особенное значить, в какие-то особые глубины проникать и невидимо творить великие события. Эти невесомые и невидимые для непосредственного ощущения организмы летают почти мгновенно, для них (с точки зрения непосредственного восприятия) как бы совсем не существует пространства. Они пробиваются в глубины нашего мозга, производят там небывалые реакции и уже по одному этому есть что-то магическое в природе слова» (Лосев, 1927, с. 68). Видимо, такая магия противна сциентистской душе Н. Хомского (как и бесчисленным «локализаторам» сознания в нейронах мозга), поэтому он предпочел постулировать врожденность лингвистических структур. Все это еще цветочки, по сравнению с «откровением», посетившим С.З. Аграновича и С.В. Березина, процитированным А.Г. Козинцевым в книге «Человек и смех» (Козинцев, 2007, с. 81). Авторы ассоциируют элементы Троицы с двумя полушариями мозга, соединенными мозолистым телом. Роль последнего играет Святой Дух. Вот уж действительно

«Археология сознания» — таково название книги, где был обнаружен этот перл.

Посмотрим, как «проблему начала» ставил и решал Г.Г. Шпет. Он (до формулирования требований М. Хайдеггера) предположил, что началом может быть интеллигибельная (от лат. *intelligibilis* — познаваемый) интуиция, т.е. постижение разумом. Это предположение близко к утверждению бл. Августина (см. выше). Не стану вслед за Платоном и И. Кантом утверждать, что такая интеллигибельная интуиция является сверхчувственной, но что она непосредственна — это несомненно. Интеллигибельная интуиция предшествует чувственной и интеллектуальной интуиции и вместе с тем она не исчезает, а становится как бы суперпозицией чувственной и интеллектуальной интуиции. При этом Шпет с сомнением относился к поискам первоначала посредством темных догадок о своем детстве. Феноменологический анализ сознания привел его к заключению о том, что независимо от уразумения, которому мы «научаемся», всегда несомненным остается наличие «способности» к нему. «Способность» к уразумению может иметь разные степени — от тупости до дара. Хуже или лучше интеллигибельная интуиция улавливает укорененный в бытии, в мире смысл. Деятельность, действия, равно как и слова, не звучат в бессмысленной пустоте. Шпет, ссылаясь на Аристотеля, говорит о соглашении, *consensus`e*, который не может рассматриваться как результат какого-то развития, а сам есть условие развития. Для объяснения такого *consensus`a* Шпет предлагает привлечь *единство рождения*: «Не только факт понимания речи, но в еще большей степени факт понимания в пределах рода, вплоть до самых неопределенных форм его, как механическое подражание, симпатия, вчувствование и прочее, суть только проявления этого единого, условливающего всякое общежитие, «уразумения», как функции

разума» (Шпет, 2005, с. 173). Вспомним Августина, который, добиваясь понимания его взрослыми, действовал по «собственному разуму».

Примерно в те же годы, что и Г.Г. Шпет, размышлял об интуиции как о начале А.А. Ухтомский: «"Интуицией" мы называем именно ту, быстро убегающую мысль в ее естественном состоянии, которая пробегает еще до слов. Она всегда в нас первая. Дальнейший ход нашей работы в том, чтобы воплотить, отпрепарировать эту интуитивную мысль, неизвестно откуда пришедшую и куда-то уходящую, почти всегда мудрую "мудростью кошки", — в медлительные и инертные символы речи с ее "логикой", "аргументацией", "сознательной оценкой"... Смысл же и мудрость не в логике, не в аргументации, не в дальнейшем ее истолковании, а в той досознательной опытности, приметливости, в той игре доминант, которыми наделило нас предание рода!.. Какое удивительное наследие предков с их страданиями, трудом, исканиями и смертью!» (Ухтомский, 2008, с. 240–241). Положения Шпета об интеллигибельной интуиции непосредственно адресованы психологии. Он ведет нас за пределы слова, образа, действия, даже культуры и духа, к первоначальному условию их понимания и в качестве такого условия выдвигает наличие разума, интеллигибельной интуиции, в которой еще не обособились чувственность и интеллект. Такая интуиция тоже гетерогенна, однако говорить о ее гетерогенезе уже не приходится, поскольку она сама есть начало и условие дальнейшего развития. Точнее, видимо, говорить не только о гетерогенности, а и об избыточности степеней свободы, подобной той, которыми обладают кинематические цепи нашего телесного организма. Избыточность характерна и для высших психических функций и для духовного организма в целом: «*Нам союзно лишь то, что избыточно...*», — говорил

О. Мандельштам. В «начале» соединены два вида избыточности: избыток недостатка и избыток возможностей, которыми если и обладают, то в значительно меньшей степени инстинкты, рефлексy или натуральные психические функции. Человеку же дан «*пространства внутренней избыток*», благодаря которому может быть «*Взят в руки целый мир, как яблоко простое*». Такой избыток дан и младенцу:

И там, где сцепились бирюльки,  
Ребенок молчанье хранит,  
Большая вселенная в люльке  
У маленькой вечности спит.

О. Мандельштам. *Восьмистишия*. 10.

Не знаю, кому принадлежит интуиция назвать человека *homo sapiens*, но Шпет, Ухтомский, Мандельштам клонят именно в эту сторону. Видимо, человек, действительно, создавался с умом и им же наделен с рождения. Иное дело, как он им распорядится потом, после того, как устами младенца перестанет глаголить истина. Это зависит не только от него, но и от социальной ситуации его дальнейшей жизни.

## 7. Первичная интегральность начала и ее преодоление

В этом же направлении шли размышления В.В. Биbihина. У него мы находим гимн первому взгляду — взгляду «понимающему» без понимания, видящему смысл без явственного смысла. П.А. Флоренский увидел у своего двухмесячного сына «сверхсознательный» взгляд, но при этом не утверждал, что у него есть сознание. В.В. Биbihин говорит о началах во множественном числе, он не разъединяет и не разменивает их, как Кондильяк, на отдельные психические функции, а соединяет их в некоторое раннее, опережающее единство: *могу — мыслю — понимаю*. Это своего рода непосредственная, первичная интегральность, благодаря которой возможно «*принимательное понимание*», «*бытийное понимание*»,

«понимающая любовь», «открытое миру Могу». Могу — это потенциал действия, реальная, материальная возможность выбора, которая предшествует смыслу и воле. Такое единство не столько свойство человека, сколько его существо. Идея того, что действие и мысль — одно, восходит к Пармениду. Ребенок понимает мир, конечно, не в гносеологическом смысле знания его устройства, а в смысле умения быть в нем. Принимающее понимание представляет собой способность вместить событие мира в себе (Бибихин, 2007, с. 222–226). Естественно, что в таком «начале» огромную роль играет эмоциональная составляющая. У А.С. Пушкина мы встречаем «симпатическое волнение», у Г.Г. Шпета — «симпатическое понимание», у М.М. Бахтина — «сочувственное понимание». Такие высказывания отвечают убеждению П.А. Флоренского в том, что в основе познания лежит любовь. Однако не все так благобно. Психоаналитик В. Блон (Blon, 1962) рассматривает знание как эмоциональное переживание наравне с любовью и ненавистью. Знание берет начало во фрустрации, порожденной переживанием незнаемого (см. также А.В. Зинченко, 2009).

Итак, начальная интуиция столь же познавательная, сколь и эмоциональная. К единству действия и мысли нужно добавить декартовское: действие и страсть — одно. Подобное изначальное единство действия, мысли и страсти больше, чем гетерогенность. Оно вносит свой вклад в становление и развитие эриксоновского базового чувства доверия к миру, а затем и всей эмоциональной сферы человека. Идущая от Спинозы идея Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта справедлива для всех стадий человеческого развития. Такое единство может принимать различные формы, подобные пушкинскому *союзу ума и фурий* или цветаевскому *союзу души и глагола...* Нерасчлененное изначальное единство

действия, мысли и страсти лежит в основе иллюзии всемогущества (омнипотентности), возникновение которой Д. Винникотт относит к младенческому возрасту. Можно только радоваться, что она далеко не у всех реализуется в полной мере. Но сохранность ее в облегченной форме «могу» — представляет собой существенное условие развития человека.

Строго говоря, утверждение о наличии допытной готовности, будь она шпетовской интеллигибельной интуицией или бибихинскими началами (*могу — мыслю — понимаю*), до ее актуализации является гипотезой. В ситуациях сенсорной изоляции животного или коммуникативной депривации ребенка «начало» не имеет будущего. Допытная готовность есть феномен, а феномен — это сущность, полностью представленная своей материей, — говорил М.К. Мамардашвили. Поэтому точнее говорить о влеченности допытной готовности в «материю» первичного опыта, который внешнему наблюдателю предстает как опыт сенсомоторный. Недостаточность такого видения опыта ощущалась давно. Ж. Пиаже назвал его сенсомоторным интеллектом. А.В. Запорожец говорил, что движения человека являются умными не потому, что ими руководит некий внешний по отношению к ним интеллект. Аналогично у Г.Г. Шпета: движение — не простая геометрическая кинема, оно существенно динамично. Мы имеем дело с движением живым, целесообразным и намеренным. М.М. Бахтин говорил, что движение обладает чувством порождающей активности.

Начиная с 20-х гг. XX века наука преодолевает механические трактовки живого движения или «абстракцию простого движения» (Ф.Е. Василюк). В исследованиях Н.А. Бернштейна, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, Н.Д. Гордеевой экспериментально показано, что живое движение не только реактивно, эволюционирует и инволюционирует, оно к тому же обладает



биодинамической и чувственной тканью, поэтому оно чувствительно к смыслу ситуации и возможностям действия в ней. Как говорил Г.Г. Шпет, оно и само очувствует лицо и «душу». В нем соединены все три цвета времени: настоящее, прошлое и будущее, что позволяет его рассматривать как элементарную, виртуальную единицу вечности (Зинченко, 2005). Выше говорилось, что сравнение показаний чувствительности движения к смыслу ситуации и чувствительности к исполнению порождает феномен непосредственной медиаторами-артефактами фоновой рефлексии. Подобная зачаточная рефлексия, возникающая внутри различных форм активности, способствует выделению себя из ситуации в качестве ее автора-деятеля. Это дает основания говорить о наличии бытийного слоя сознания, образуемого благодаря взаимодействию биодинамической ткани движения и чувственной ткани образа (Зинченко, 2006).

П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев говорили о магии слова. Учитывая сказанное о живом движении, не с меньшим основанием мы можем говорить о чуде, тайне и магии живого движения. Знатоки и любители балета легко со мной согласятся. Сказанное о движении тела, разумеется, в полной мере относится и к движениям речедвигательного аппарата. Наличие и значение для порождения речи артикуляционного чувства подчеркивалось В. Гумбольдтом и изучалось Н.И. Жинкиным. М.М. Бахтин характеризовал артикуляционное чувство как «фокус чувствуемой активности порождения» высказывания — активности, возвращающей высказывающегося к себе самому, к своему действующему порождающему единству (Бахтин, 2003, т. 1, с. 217–218). Живое движение, таким образом, не является внешним по отношению к психике. Оно и есть психика, во всяком случае — ее душа. С.Л. Рубинштейн был прав, назвав действие исходной единицей анализа, «клеточкой»

психики, которая содержит в себе зачатки всех элементов психологии.

Итак, мы вновь пришли к «началу», но теперь уже не «сверху», а «снизу» — от беглого экскурса в анализ живого движения, представляющего собой фундамент психики, ее живую онтологию. Любой путь к «началу» заставляет заключить, что оно не является ни низшим, ни примитивным, а представляет собой целостную интегральность, хотя и интегральность, но первоначальную и ни в коем случае не высшую. Здесь мы не должны поддаваться гипнозу слова «интегральность», подобно тому, как уже перестаем поддаваться магии слов «интериоризация» и «экстериоризация».

Парадокс развития состоит в том, что оно идет не по линии развития этой первичной интегральности, а по линии ее преодоления и даже борьбы с ней. Для того чтобы развить движения руки, нужно прежде затормозить «интегральный» хватательный рефлекс. (Правда, наблюдения показывают, что он не тормозится полностью, а по-своему развивается и со временем приобретает разные формы: от грубых до весьма изощренных.) В развитии психики происходит подобное тому, что замечательно описал Н.А. Бернштейн относительно функций нервной системы как целого и путей ее развития. Это тем более важно, что, в отличие от большинства физиологов, он в своих размышлениях опирался на данные Л.С. Выготского и других психологов об онтогенезе психических образований: «Развитие живого существа не было бы развитием, а механическим, мертвенным изменением его под непрерывным потоком воздействий окружающей среды, если бы оно не определялось, кроме текущих воздействий, еще и всей предыдущей историей и его вида. Развитие тем и отличается от пассивного изменения, что оно складывается исторически, и его история является одной из определяющих его



причин... Ведь история, не сохранившая никаких следов, — это уже не история» (Бернштейн, 2003, с. 204–205). Такие следы Бернштейн, вслед за Р. Семоном, называет «сохраняющим началом» или мнемой, и соглашается с ним, что сближение между собой родовых и видовых проявлений мнемой содержит в себе нечто большее, нежели простую аналогию (Бернштейн, 2003, с. 297). В терминологии М.М. Бахтина, это большая память рода. Весьма существенны размышления Н.А. Бернштейна о том, что «сохраняющее начало» не только сохраняет историю, но и сохраняется само: «Взрослая психика не конструируется из элементов, содержащихся в детской, а развивается как нечто качественно иное на основе того, что имело место в раннем детстве, и, развиваясь, не истребляет своих предшественников, а частью видоизменяет их, частью сдвигает их в энграфический запас» (Бернштейн, 2003, с. 216), т.е. в запас памяти.

Обратимся к тому, как Н.А. Бернштейн рассматривал судьбу интегрального. Его размышления о нем в равной степени относятся к физиологии и психологии. Он оспаривает «армаду авторитетов», включая Ч. Шеррингтона и И.П. Павлова, утверждавших, что нервная система играет интегрирующую (объединяющую) роль. В интегрировании и объединении может нуждаться только то, что само по себе не интегрально и не едино — чего о нервной системе и ее отправлениях сказать никак нельзя. Но эта интегрирующая функция, продолжает Бернштейн, может быть, и существует у нервной системы, но только как одна из самых древних, первоначальных функций во всем ее филогенезе, которая может быть возглавляющей только на самых ранних ступенях эволюционного процесса. А более новые отправления нервной системы протекают на основе этой первичной интегральности,

но протекают как *борьба с нею*, как преодоление этой доисторической генерализации (Бернштейн, 2003, с. 318).

Н.А. Бернштейн достаточно категоричен: «*деятельность современной нам нервной системы высокоорганизованного позвоночного — не интеграция, а борьба с первичной интегральностью*. Можно, пожалуй, сказать, что нервной системе присуща не интегрирующая, а интегрировавшая функция. Необходимо заметить, что формы борьбы с древней интегральностью могут быть чрезвычайно разнообразными и, как мы видели на протяжении всей этой книги, видимо, реже проявляются в виде анализа (расчленения), нежели в виде вычленения, оформления отдельной части на фоне создания оформленных подсовкупностей. Как морфологическое развитие многоклеточного организма совершается не по линии интеграции, а по линии дивергенции (расхождения) структурных форм его элементов, заострения качественных различий между ними и вычленения организованных подсистем — *органов*, так и генез нервного процесса есть постепенное повышение дифференциации (мы видели это хотя бы на примере онтогенеза психических образований) и вычленение организованных, структурированных *действий* из льющегося сквозь нервную систему первоначального неделимого (интегрального) потока» (Бернштейн, 2003, с. 318). Продолжу изложение логики Бернштейна относительно вычленения из нервного потока структурированных действий: «В наинищем плане этот процесс дает вычленение рефлексов, в наивысшем — оформление сложнейших психологических и идеологических структур. Рефлекс — не сумма рефлексиков, деци- и миллирефлексов, скомпонованных в одно целое благодаря вмешательству интеграции... В то же время рефлекс не есть и слагаемое, суммирование которого с ему подобными может дать (с помощью

интеграции) действия любых уровней качественной сложности; эти высокоорганизованные действия в свою очередь не гекто- и не килорефлексы» (там же, с. 318).

Следовательно, путь от сохраняющего интегрального начала, будь оно физиологическим или психологическим, является общим. Это путь его амплификации и последующего вычленения, дифференциации отдельных функций, а затем формирования специализированных функциональных органов индивида и обеспечивающих их работу функциональных органов нервной системы. В результате вычленения и дифференциации, происходящих в ходе развития индивида, происходит относительная автономизация действия, образа, слова, мысли, аффекта, и речь уже идет не об их интеграции, а о союзе, координации, субординации и других путях, обеспечивающих необходимое взаимодействие автономизировавшихся подсистем. Действительная проблема состоит в том, чтобы понять, как множество свободных моторных и ментальных систем успешно координируют свою работу без вертикали управления. А.А. Ухтомский в свое время заметил, что судьба реакции (поведенческого акта) решается не на станции отправления, а на станции назначения.

### Заключение

Подведем некоторые итоги. Непосредственное, интегральное, сохраняющее начало, представляющее собой целостность душевного акта, есть необходимое условие усвоения языка, приобретения опыта, различных форм деятельности, культуры в целом. Сказанное может восприниматься как телеологическая, преформистская идея, но я не имею в виду некоего врожденного психологического гомункулуса. Как говорилось ранее, это скорее predisposition развития,

наличие которой обеспечивается, как предполагали Г.Г. Шпет, А.А. Ухтомский, В.В. Биbihин, Н.А. Бернштейн, «единством рождения», принадлежностью к человеческому роду. Такая интегральная активность дает ребенку возможность взаимодействовать с миром, — такое взаимодействие, конечно, должно быть опосредовано его заботливыми воспитателями, — принимать мир в себя и благодаря им же «понимать» его. Условием продвижения по этому пути является проникающее в душу ребенка слово, которое обеспечивает неправдоподобно быструю дифференциацию исходной допытливой готовности в то, что мы называем нашим внутренним миром.

Иначе говоря, на базе непосредственного начала строятся многообразные формы опосредования, вступают в свои права медиаторы-артефакты: знак, слово, смысл, символ, миф и др. Сознание индивида загромождают опосредованные ими знания и состояния. Сложность внутреннего мира человека начинает превосходить сложность внешнего мира. Поэты мечтают о *неслыханной простоте*, которая *всего нужнее людям*, и сожалеют, что *сложное понятней им*. Спасибо, что Б. Пастернак и его собратья по цеху *ее не утаивают*. Интуиция играет не меньшую роль в понимании человеком собственного, внутреннего мира, чем мира внешнего. Но теперь уже это не только первичная, исходная интеллигибельная интуиция, а ее изменившиеся и развившиеся формы чувственной и интеллектуальной интуиции, вобравшие в себя опыт опосредования. Чувственная и интеллектуальная интуиция сохраняют, несут в себе черты непосредственной интеллигибельной интуиции, благодаря чему человек, если он умный, преодолевает надолбы и рвы опосредованного и возвращается к реальному миру. Разумеется, это непросто. Например, К. Маркс писал в письме одному из своих соратников, что

любые абстракции даются ему очень легко, а простейшая техническая реальность дается труднее, чем самому большому тупице. Этот пример показывает, насколько важно, при всей дифференциации душевной жизни и ее сложности, сохранение способности к непосредственному восприятию презентированного нам мира, будь этот мир внешним или внутренним. Возникает вопрос, не приводит ли подобная трактовка «начал» к интуитивизму? Г.Г. Шпет отвергает такое предположение: он, ссылаясь на Г. Гегеля, характеризует интуицию именно как начало, условие, но не как метод. За интуицией должна следовать дискурсия (см. более подробно (Зинченко, 2009)).

Выше приводилось положение М. Хайдеггера, что подлинное начало всегда есть за-скок вперед. В нем слиты память рода, настоящее и альтернативное будущее (Зинченко, 2005). В терминологии А.А. Ухтомского — это активный хронотоп. Такое же свойство сохраняют и другие, возникающие позднее формы чувственной и интеллектуальной интуиции. Результатом интуиции или инсайта всегда является новый образ реальности. Ухтомский рассматривал образ и мысль как гипотетический проект реальности. Их «проективный характер происходит оттого, что мои образы и представления всегда имеют практическое значение, — они имеют в виду ту или иную деятельность и воздействие на реальность с моей стороны, то или иное взаимодействие с реальностью» (Ухтомский, 2008, с. 191). Н.А. Бернштейн говорил об этом же в терминах *Ist wert* и *Soll wert* — что есть и что должно быть, как о характерных чертах образа ситуации. Значит, инсайт всегда есть и форсайт (*foresight*), он содержит в себе потребное будущее. Согласно бл. Августину, только через напряжение действия будущее может стать настоящим. (Непотребное будущее приходит само.) Интуиция или инсайт (вместе с

форсайтом), если характеризовать время в пространственных категориях, есть «карта-обозрение», временная перспектива, которая должна быть преобразована в траекторию движения, в «карту-путь» или в «дорожную карту». Такое преобразование уже требует дискурсии как метода достижения цели. Естественно, что бывают ситуации, когда интуиция, минуя дискурсию, сливается с действием, что характерно, например, для поступка. Не буду вдаваться в замечательный бахтинский сюжет о «поступающем мышлении» и «жизни-поступлении». Отмечу лишь, что непосредственность в отношениях между людьми не менее важна, чем непосредственность восприятия мира. Итак, соотношение непосредственного и опосредованного — это новый сюжет всей культурно-исторической психологии, мимо которого она не должна пройти. Надеюсь, в его обсуждение внесут вклад и другие направления психологии.

На этом можно было бы закончить обсуждение проблемы «начала», понимаемого как доопытная готовность к овладению культурой и деятельностью. В процессе этого обсуждения читатель встретился с возражениями против трактовки интеллигентной интуиции, принимающего, бытийного понимания как натуральных психических функций. Такие возражения остаются в силе, поскольку под натуральностью в культурно-исторической психологии подразумевается низшее, не-культурное, нечто почти недо-человеческое, которое должно быть окультурено. Если же согласиться с приведенной выше аргументацией о невероятном богатстве «начала» и с тем, что мы обязаны такому богатству «единству рождения», принадлежностью к человеческому роду, то оно для человеческого существа вполне естественно. И еще не известно, что выше: интуиция по отношению к презентированному миру, или интуиция

по отношению к его репрезентации, построенной благодаря различным формам опосредования. Моя претензия относится не к термину «натуральное», а к его трактовке. Человеческое натуральное является по своему происхождению культурным, что, разумеется, не освобождает человека от овладения культурой, ядром которой является слово. Слово, понимаемое во всем богатстве его внешних и внутренних форм, есть Глагол — Логос — Голос, Диалог, Жизнь, т.е. и слово, и дело, и образ, и чувство, и мысль, и личность. Это тоже относится к началу, но на сей раз к началу статьи.

Итак, мы пришли к заключению, что слово — не только архетип культуры, принцип познания, но и главный принцип организации человеческой деятельности, сознания и личности. Не только человек овладевает словом, но и слово овладевает им. В. Гумбольдт был прав, говоря, что «язык сильнее нас». Это настолько верно, что слишком часто человек, вместо того, чтобы пользоваться словом, как орудием, сам становится орудием или органом языка. Хорошо, если таким органом становится поэт, а не, например, щедринский «органчик» или чеховский чиновник, не знавший, что значит встретившийся в тексте восклицательный знак. Такие люди не дали себе труд погрузиться в мир языка, войти в язык, как в «дом бытия» (М. Хайдеггер). К ним относится высказывание профессора Преображенского о Шарикове: «Уметь говорить — еще не значит быть человеком». М.А. Булгаков убедительно показал, что Шариковы и Швондеры начинают «править бал» тогда, когда «дом бытия» ветшает и рушится. К несчастью, симптомы этого сегодня слишком очевидны.

Наконец, в качестве подарка терпеливому читателю приведу замечательные строки Томаса Элиота. Их нужно воспринимать как поэтическую иллюстрацию того, что я пытался выразить в прозе о

слове, взятом во всем богатстве его внешних и внутренних форм.

Если утраченное слово утрачено,  
 Если истраченное слово истрачено,  
 Если не услышанное, несказанное  
 Слово не сказано и не услышано, все же,  
 Есть слово несказанное,  
 Есть слово без слова. Слово  
 В мире и ради мира:  
 И свет во тьме светит, и ложью  
 Встал против Слова немирный мир,  
 Чья ось вращения и основа —  
 Все то же безмолвное Слово...

(Пепельная среда. V. 1930)

Поэт говорил: «*В моем начале — мой конец... В моем конце — мое начало*». Благодаря доопытной готовности слово вместе с миром принимается в себя младенцем и становится новым и подлинным началом культурного и духовного развития. Оно же оказывается концом и венцом развития, поскольку «*От всего человека остается часть речи*» (Иосиф Бродский). Хорошо бы она была шире и содержательнее sms-ки!

Развитие языка и мысли прекратится только тогда, когда умолкнет безмолвное Слово, а, соответственно, исчезнет мудрое безмолвие, и даже поэт не сумеет домолчаться до стихов. Мне осталось сказать, что теоретически, будь то в философии, в психологии, даже в психологии развития, душа и тело, слово и дело, культура и деятельность вполне совместимы. Главная проблема — как совместить их в жизни?

В заключение я хотел бы выразить искреннюю признательность А.В. Зинченко и А.С. Волович за благожелательное и очень полезное обсуждение первоначальной версии настоящей статьи.

#### Литература

- Августин А. Исповедь. М., 1991.  
 Бахтин М.М. Собрание сочинений. М., 1996–2003.  
 Бенвенуто С. Мечта Лакана. СПб., 2006.

- Бернштейн Н.А.* Современные искания в физиологии нервного процесса. М., 2003.
- Бибихин В.В.* Язык философии. М., 1993.
- Бибихин В.В.* Мир. СПб., 2007.
- Выготский Л.С.* Собрание сочинений в 6 т. М., 1982–1984.
- Гордеева Н.Д.* Экспериментальная психология исполнительного действия. М., 1995.
- Гордеева Н.Д., Зинченко В.П.* Функциональная структура действия. М., 1982.
- Гордеева Н.Д., Зинченко В.П.* Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2001. № 6.
- Гордон В.М., Зинченко В.П.* Структурно-функциональный анализ психической деятельности // Системные исследования. Ежегодник. М., 1978.
- Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Завершнева Е.Ю.* Путь к свободе (к публикации материалов из семейного архива Л.С. Выготского) // НЛО. 2007. № 85.
- Завершнева Е.Ю.* Записные книжки, заметки, научные дневники Л.С. Выготского (1912–1934): результаты исследования семейного архива // Вопросы психологии. 2008. № 1–2.
- Запорожец А.В.* Развитие произвольных движений. М., 1960.
- Запорожец А.В. и др.* Восприятие и действие. М., 1967.
- Зинченко А.В.* Ностальгия: диалог знания и памяти // Культурно-историческая психология. 2009 (в печати).
- Зинченко В.П.* Формирование ориентировочного образа в процессе выработки двигательного навыка // Ориентировочный рефлекс и ориентировочно-исследовательская деятельность. М., 1958.
- Зинченко В.П.* Восприятие и действие. Сообщения I и II // Доклады АПН РСФСР. 1961. № 2, № 5.
- Зинченко В.П.* Продуктивное восприятие // Вопросы психологии. 1971. № 6.
- Зинченко В.П.* Установка и деятельность: нужна ли парадигма? // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978. С. 133–146.
- Зинченко В.П.* От генезиса ощущений к образу мира // А.Н. Леонтьев и современная психология. М., 1983. С. 140–149.
- Зинченко В.П.* Возможна ли поэтическая антропология? М., 1994.
- Зинченко В.П.* Мысль и слово Густава Шпета. М., 2000.
- Зинченко В.П.* Мысль и слово: подходы Л.С. Выготского и Г.Г. Шпета // Точки. 2003. № 3–4. С. 127–169.
- Зинченко В.П.* Живое время и пространство в течении философско-поэтической мысли // Вопросы философии. 2005. № 5. С. 20–46.
- Зинченко В.П.* Сознание как предмет и дело психологии // Методология и история психологии. 2006. № 1. С. 207–231.
- Зинченко В.П.* Гетерогенез творческого акта: слово, образ и действие в «котле cogito» // Когнитивный подход. М., 2008а.
- Зинченко В.П.* Ранние стадии культурного развития ребенка // Психологический журнал университета «Дубна». 2008б. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.psyanima.ru.
- Зинченко В.П.* Шепот прежде губ, или Что предшествует эксплозии детского языка // Культурно-историческая психология. 2008в. № 2. С. 2–18.
- Зинченко В.П.* Надо ли преодолевать постулат непосредственности? // Вопросы психологии. 2009 (в печати).
- Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю.* Формирование зрительного образа. М., 1969.
- Козинцев А.Г.* Человек и смех. СПб., 2007.
- Леонтьев А.Н.* О механизме чувственного отражения // Вопросы психологии. 1959. № 1.
- Лисина М.И.* Проблемы онтогенеза общения. М., 1986.
- Лосев А.Ф.* Философия имени. М., 1927.
- Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987.
- Петренко В.Ф.* Основы психосемантики. СПб., 2005.
- Поливанова К.Н.* Периодизация детского развития: опыт понимания // Вопросы психологии. 2004. № 1. С. 110–119.
- Сергиенко Е.А.* Раннее когнитивное развитие. Новый взгляд. М., 2006.
- Тресмонтан К.* Разум // Страницы. Журнал Библиейско-богословского института св. апостола Андрея. 1996. № 4. С. 49–67.

- Ухтомский А.А.* Интуиция совести. СПб., 1996.
- Ухтомский А.А.* Лицо другого человека. СПб., 2008.
- Флоренский П.А.* У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990.
- Хайдеггер М.* Исток художественного творчества. М., 2008.
- Хольт Р.* Образы: возвращение из изгнания // Зрительные образы: феноменология и эксперимент. Душанбе, 1971.
- Чудинова Е.В.* Развитие крика младенца // Журнал высшей нервной деятельности. 1986. Т. XXXVI. № 3. С. 441–449.
- Шпет Г.Г.* Сочинения. М., 1989.
- Шпет Г.Г.* Философско-психологические труды. М., 2005.
- Шпет Г.Г.* Философия и психология культуры М., 2007.
- Эльконин Д.Б.* Детская психология. М., 1960.
- Bion W.R.* Learning from experience. London, 1962.
- Messinger D.S., Fogel A., Dickson K.L.* A dynamic system approach to infant facial action // The Psychology of Facial Expression / Eds. J.A. Russell, J.M. Fernandes-Dols. Cambridge, 1997. P. 205–226.
- Trevarthen C.* Early Attempts at Speech // R. Lewis (ed.) Child, Alive. London, 1975.